

ОБРАЗ «МОЛОДОЙ СТАРОСТИ» В ПОЗДНЕЙ ЛИРИКЕ И. БУНИНА

О. Н. Владимиров

THE CONCEPTION OF «YOUNG SENILITY» IN IVAN BUNIN'S LATE LYRICS

O. N. Vladimirov

Статья обращена к малоисследованной лирике Бунина последнего периода творчества. Преимущественное внимание уделяется образу «молодой старости», являющейся вариантом центрального в поздней бунинской поэзии образа круга, структурирующего её в единое целое. Актуализация «молодой старости» вызвана стремлением поэта отказаться от художественной условности, преодолеть дистанцию между словом и реальностью, адекватно воспроизвести незавершённость, бесконечность жизни и своё к ней отношение. Оксюморон «молодая старость» – семантически ёмкое обозначение не только отмены старости, вневременности жизни, но и обострившегося у бунинского героя чувства прапамяти и метемпсихоза. С этим образом связаны мотивы весеннего цветения, сада, юности, первой любви (воспоминаний о ней), сотериологические размышления бунинского героя. Один из сквозных мотивов бунинской лирики – мотив вечного обновления жизни – становится особенно заметным на фоне стихотворений предшествующего периода (1910-х гг.). Цикличное пребывание в мире бунинского героя и его возлюбленной подтверждено поэтизацией пространственно-временного круговорота, обогащением субъектной организации (имперсональное «я» и стихи о прежних стихах, здесь же цитируемые) и соответствует антиномичному пониманию лирическим «я» своей конечности и бесконечности.

Ivan Bunin's little-investigated lyrics of his latest creative period appear to be the matter of this paper. Mostly, the attention is paid to the conception of "young senility", which is considered as a variant of the "circle" idea. The latter is central in Bunin's late lyrics and structures it as a single whole. The actualization of "young senility" is a result of the poet's effort to decline the conventionalities of art, to get over the gap between word and reality, to represent properly the incompleteness and endlessness of life and his own attitude towards it. "Young senility", as an oxymoron, proves to be not only a poetical abolition of senility and a denotation of life's timelessness, but also implies the intensive sense of distant memory and metempsychosis experienced by the protagonist. Along with this conception go such motives as spring garden in blossom, youth, first love (or memories of it), and the protagonist's soteriological reflections. The motif of ever-renewing life, being one of the prevailing motives in Bunin's lyrics, gets particularly evident against the previous poems (written in the 1910s). The protagonist and his beloved one attend this world cyclically, which is confirmed by the poetization of time-and-space turnover, as well as by the enrichment of subject organization (the impersonal self and poems about former poems, herein cited). All this corresponds with the lyrical self's antinomic idea of its own finiteness and endlessness.

Ключевые слова: Бунин, лирика, образ круга, оксюморон, мотив, субъектная организация.

Keywords: Bunin, lyrics, the idea of circle, oxymoron, motif, subject organization.

Проблематика бунинской лирики 1916 – 1918 гг. – начала нового и последнего периода творчества – предвосхищается стихотворением «Потоп» (<1905>), воспринимающимся как поэтическая реакция на первую русскую революцию. Страшный рассказ («халдейские (т. е. древнеавилонские. – О. В.) мифы», как отмечено в подзаголовке) «царя Касисадры, Ксисутроса» о «смерти и гибели», перенесённых страданиях заканчивается картиной «смирения» «свиристествовавших» «шесть дней и семь ночей» стихий, солнечным рассветом: «Я плакал, / Открыв окно и увидавши солнце» [2, с. 139]. Эта антитеза всеобщего разрушения и бедствий и возвращения к жизни, её притяжения – в основе бунинского творчества этих лет (Ср. с замечанием Е. Ю. Куликовой, пишущей о морской теме у Бунина: «Отсутствие неизбежного в мире наделяет всё, прежде бывшее, особенной ценностью, поскольку опасность катастрофы и сама катастрофа знаменует собой апокалиптическую точку конца. Однако у Бунина это еще и точка зарождения жизни, исходящей из всех прежде бывших существований, из всех погребенных на дне морском и в земле» [6, с. 468].)

С одной стороны, пишутся стихотворения об оправдавшихся прогнозах; сбывающихся пророчествах:

«Молчание», «Никогда вы не воскреснете, не встанете...», «По древнему унылому распеву...», «И шли века, и стены Рая пали...», «Из книги пророка Исаии» и др. Балладная недоговоренность стихотворений предшествующего периода творчества переходит здесь то в открыто выраженную констатацию того, что «Презренного, дикого века / Свидетелем быть мне дано...» [2, с. 360], то в признание: «...не принять грядущей нови / В ее отвратной нагоде» [2, с. 375], то в презрительное обращение к «рабам», проклятие старому миру: «Никогда вы не воскреснете, не встанете / Из гнилых своих гробов, / Никогда на Божий лик не глянете, / Ибо нет восстанья для рабов...» [2, с. 408].

В ряде стихотворений антиномии разрушения мира и извечной его красоты, Сатаны и Бога совмещены: «Вход в Иерусалим», «Снег дымился, в раскрытой могиле...», «На всякой высоте прельщает Сатана...», «День памяти Петра» и т. д. В стихотворении «На исходе» утверждается: «Звезда, что будет на востоке, / Еще среди глубокой тьмы» [2, с. 349]. Случилось то, что должно было произойти, но мрачное сегодня приближает рассвет, возрождение.

На этой интонации снятого напряжения, переведённого дыхания написано большинство стихов продуктивных 1916 – 1918 гг.

С этим связана и очевидная смена субъектной организации: доминирующей становится форма прямого высказывания (от лица «я»), доверительного, исповедального, умиротворённого – редкого в поэзии прежних лет. В этот период написаны классические, с точки зрения их соответствия лирике как роду, стихотворения: «Последний шмель», «Настанет день – исчезну я...», «Этой краткой жизни вечным изменением...», «Сириус» и другие. (Своё исследование «Бунин» Ю. В. Мальцев заканчивает цитированием стихотворения «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...» [7, с. 352]. Эти же стихи приводит как образец бунинской лирики В. С. Баевский в своей сжатой «Истории русской поэзии: 1730 – 1980» [1, с. 237].)

Счастье жизни – в её вечном обновлении, этот излюбленный мотив вновь актуализируется и становится особенно заметным на фоне лирики предшествующего, балладного периода творчества. От страшной, но предвиденной злобы дня поэт отходит к старым, но не стареющим ценностям мира: «Сладок и нов ей (девочке. – О. В.) весенний рассказ, / Миру рассказанный тысячу раз» («Первый соловей») [2, с. 344], «Колоколов средневековой / Певучий зов, печаль времен, / И счастье жизни вечно новой, / И о былом счастливый сон» («Венеция») [2, с. 374]. Вечность смывает суетность человека и ничтожность его дел: «Покрывало море свитками / Древней хартии своей / Берег с пестрыми кибитками / Забавлявшихся людей» («Покрывало море свитками...») [2, с. 342]; ср.: «Смятенье, крик и визг рыбалок...», «Все снится мне заросшая травой...» и др.). Образы океана (моря), волн, приливов и отливов, всевидящей и беспристрастной луны, ветра – вечных природных, космических стихий и реалий – сквозные в лирике этого периода. Одним из самых частотных является в ней и образ сада, реального и эдемского, райского.

Значительный ряд стихотворений объединён мотивами весеннего цветения, юности, свежести, чистоты: «Людмила», «Спутница», «Первый соловей», «Гаданье», «Воспоминание», «Ландыш», «Ранний, чуть видный рассвет...», «Невеста», «По теченью». В стихах «Спутница», «Ранний, чуть видный рассвет...» утро дня соответствует утру жизни: «Ранний, чуть видный рассвет, / Сердце шестнадцати лет. // Сада дремотная мгла / Липовым цветом тепла. // Тих и таинственен дом / С крайним заветным окном. // Штора в окне, а за ней / Солнце вселенной моей» [2, с. 358]. Узнаваемая здесь интонация Фета «безглагольного» соответствует образу вневременности в лирике Бунина этих лет. Её посещает просветлённое и умиротворённое жизнеутверждение, хранящее следы пережитого.

Эти мотивы часто сопряжены с мотивом первой любви (её ожидания). «Весенний рассказ, миру рассказанный тысячу раз», «счастье жизни вечно новой» [2, с. 374] – это, прежде всего, опыт и переживания лирического «я», поэтому нередко воспоминания о них («В столетнем мраке черной ели...», «Тихой ночью поздний месяц вышел...», «Море, степь и нежный

август, ослепительный и жаркий», «Воспоминание», «Свет незакатный», «Сириус», «Ночью, в темном саду, постоял вдалеке...», «Под окном бродила и скучала...»). Бунинский герой вспоминает и друга, с которым он «разделял» «Те радости и муки без причин, / Ту сладостную боль соприкасая / Душой со всем живущим...», которым «нет названья» («Памяти друга») [2, с. 338], и «вечер бездомный» в Петербурге, когда он «...молод был, безвестен, одинок / В чужом ... мире, сложном и огромном...» («На Невском») [2, с. 339]. С остротой и полнотой лично виденного и только что пережитого он может вспомнить и летнее утро вековой давности, в которое его дедушка представлял своё будущее венчание («Дедушка в молодости»).

Воспоминания не просто освежают душу, греют сердце, но и возвращают молодость и надежды: «Как в апреле по ночам в аллее...», «В пустом сквозном чертоге сада...»: «Какая сладость все, что прежде / Ценил так мало, вспоминать! / Какая боль и грусть – в надежде / Еще одну весну узнать!» [2, с. 364]. Эта вернувшаяся молодость в стихотворении «Старая яблоня» названа «молодой старостью»: «Вся в снегу, кудрявом, благовонном, / Вся-то ты гудишь блаженным звоном / Пчел и ос, от солнца золотых / Старишься, подруга дорогая? / Не беда! Вот будет ли такая / Молодая старость у других!» [2, с. 351]. «От солнца золотые» пчёлы и осы в первом варианте этих стихов 1916 г. были «завистливыми и злыми»; эта авторская правка примечательна: после устранения возможных общественно-политических аллюзий картина весеннего цветения в солнечный день и акцент на последней строке стали выразительнее. (См. также в стихотворении «Дедушка в молодости»: «...Где на куртинах диких роз, / В блаженстве ослепительного блеска, / Впивают пчелы теплый мед...» [2, с. 332].) Если пчёлы, осы, шмели – в центре поэтической энтомологии этого периода, то на периферии её – мухи: «В сторожке грусть, мушиный гуд... / – Зачем в лесу звенит овсянка, / Грибы растут, цветы цветут / И травы ярки, как медянка?» («Льет без конца. В лесу туман») [2, с. 329], «Там (во «тьме». – О. В.), как мухи, / Как червь на падали, кишат / Исчадия земли и ада...» («Матфей Прозорливый») [2, с. 305]. (Ср. с рассказом 1924 г. «Мухи».) Те и другие насекомые метонимически представляют бунинскую оппозицию «Рай – Вавилон, строй – рой, космос – хаос» в этот период.

«Молодая старость» синонимична «вечной юности»: так писатель определяет вторую молодость в «Освобождении Толстого», вслед за Гёте, называвшим «вечную часть нашей нравственной природы» «энтелехией» и говорившим, «что гении переживают две молодости, меж тем как прочие бывают только раз молоды» [5, с. 117]. (О бунинской энтелехии пишет Ю. В. Мальцев в связи с анализом «Темных аллей» [7, с. 324 – 325].)

Оксюморон «молодая старость» точнее передает то, что в прозе обозначено как «вечная юность» (то есть реализация энтелехии в жизни «особо одаренных» людей): не просто вернувшуюся молодость, а творческий расцвет, обогащённый прожитым и пере-

житым. Местоимение «такая», выделенное межстиховой паузой, – не столько указательное и неопределённое, сколько определительное, усиливающее значение «молодой старости»: «Старишься, подруга, дорогая? / Не беда! Вот будет ли такая / Молодая старость у других!» [2, с. 351]. «Такая молодая старость» противопоставлена «скучной, грязной старости» в стихотворении 1916 же года «Никогда вы не воскреснете, не встанете...» (здесь характеристика «рабов» как «темных слуг корысти, злобы, ярости, / Мести, страха, похоти и лжи» могла повлиять на замену «завистливых и злых» пчёл и ос «от солнца золотыми»). Творческая активность, духовный взлёт в «молодой старости», как и само это выражение, напоминают об оксюморонах «морозный пожар» и «расцвет полярного сиянья», завершающих «Листопад». (Это раннее произведение может быть прочитано как метафора одинокого творческого пути поэта, теперешнее непонимание, неприятие которого сменится будущим его признанием и неперенным торжеством его поэзии.)

Близок к образу «молодой старости» образ Розы Иерихона в одноимённой миниатюре: «В знак веры в жизнь вечную, в воскресение из мертвых, клали на Востоке в древности Розу Иерихона в гроба, в могилы» [3, с. 7], – в свою очередь напоминающий об «энергии и силе жизни» репейника – кустов «татарина» из «Хаджи-Мурата» Л. Н. Толстого. Параллель эта поддержана образом «мохнатого» («черного бархатного»), «заснувшего» на репее шмеля («уснувшего» в бунинском стихотворении, «замершего» в «арсеньевском» «И вновь, и вновь над вашей головой...» – «...И шмель замрет на венчике цветка...», но эти стихи – весенние): «Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка и сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветок» [8, с. 22] – «Черный бархатный шмель, золотое оплечье <...> Полетай, погуди – и в засохшей татарке, / На подушечке красной усни» [2, с. 336]. Соотнесение жизни человека с жизнью старой яблони, последнего шмеля, иерихонской розы, косвенно – с репейником, как и эвфемизм «усни», подтверждает мысли бунинского героя об особом смысле человеческого существования, его сотериологические чаяния. «Не дано тебе знать человеческой думы» – в обращении к «последнему шмелю» бунинский герой имеет в виду неравенство жизни человека, её целеположенности – биопродуктивности, самовоспроизведению живых организмов, телесной преемственности.

«Молодая старость» осознаётся и как дар свыше, обязывающий к особой ответственности перед собой и Богом: «Звездой пылающей, потиром / Земных скорбей, небесных слез / Зачем, о Господи, над миром / Ты бытие мое вознес?» («Звезда дрожит среди вселенной...») [2, с. 363], «Вот все внизу, все царства мира – / И я преображен. Душе моей дана / Как бы незримая порфира. // Не я ли царь и Бог?» («На всякой высоте прельщает Сатана») – [2, с. 415]. «Приемлю указанье / Покорным быть земной судьбе...» («Где ты, угасшее светило?») [2, с. 429]. Особо заметно эта богоизбранность выражена в «Радуге»: «Лишь избранный Творцом, / Исполненный Господней благодати, – / Как ра-

дуга, что блещет лишь в закате, – / Зажжется пред концом» [2, с. 370]. Бунин здесь обращается к образу радуги как знамению союза между Богом и людьми [Быт. 9: 12-17]. Образ радуги – и в стихотворениях «Роняя снег, проходят тучи...» [2, с. 354], «Сорвался вихрь, промчал из края в край...» [2, с. 360].

«Молодая старость» – это и отмена старости, «вневозрастность», «несрочная весна». (Словосочетание «несрочная весна» из стихотворения Е. А. Баратынского «Запустение» («Я посетил тебя, пленительная осень...») дало название рассказу 1923 г.)

В стихотворении «„Опять холодные седые небеса <...>“» лирическое «я» восклицает: «– Ах, старая наивная тетрадь! / Как смел я в те года гневить печалью Бога? / Уж больше не писать мне этого «опять» / Перед счастливою осеннею дорогой!» [2, с. 379]. «„Опять холодные седые небеса <...>“» – один из примеров расширения и усложнения нарративной сферы в бунинской поэзии последнего периода и достаточно редкий в русской лирике случай стихов поэта о своих стихах, здесь же цитируемых. В этих произведениях соотношение теперешнего сознания героя с прежней его позицией стирает границу между художественной условностью и реальностью, между «я» – поэтом и лирическим «я», как и границу между художественным и реальным временем. Стихотворение Бунина является вариантом этой формы высказывания: к своим стихам обращается не поэт вместе со своим «я», а только лирическое «я», и только художественной реальности в этом случае принадлежат его строки «„Опять холодные седые небеса, / Пустынные поля, набитые дороги. / На рыжие ковры похожие леса, / И тройка у крыльца, и слуги на пороге...“». Но можно предположить, что это четверостишие – подлинное строки Бунина из неизвестной читателю рукописи («старой наивной тетради»), учитывая их сходство с опубликованными стихами начинающего поэта (ср.: «Пустыня, грусть в степных просторах. / Синеют тучи. Скоро снег. / Леса на дальних косогорах / Как желто-красный лисий мех» [2, с. 21]; «Седое небо надо мной / И лес, раскрытый, обнаженный» [2, с. 24]. Здесь приводятся начальные строки стихотворений). К этому же приёму Бунин прибегнет в «Жизни Арсеньева»: он припишет молодому поэту Алёше Арсеньеву стихи «И вновь, и вновь над вашей головой...» [4, с. 145]. Но в этом случае автор и его представитель более далеки друг от друга, чем в стихотворении «„Опять холодные седые небеса <...>“». К тому же неметафорический стиль молодого Бунина не совпадает с подчеркнута экспрессивным образным строем стихотворения юного Арсеньева.

Всегда присущее бунинскому герою ощущение повторяемости всего и вся теперь снимается усилившимся чувством вневременности его жизни, чувством наступившей «несрочной весны». Именно поэтому «осенняя дорога» – «счастливая». По ней «я» идёт «Молодыми, легкими шагами // И опять, опять чего-то ждёт («Как в апреле по ночам в аллее...») [2, с. 363]. Тот же мотив развивается в стихотворениях «Зачем пленяет старая могила...»: «молодая старость» названа здесь «радостью воскресенья» [2, с. 372] – и

«Дочь»: «...И чувством молодости странной, / Как будто после похорон, / Кончается мой сон туманный» [2, с. 328].

«Несрочная весна» возвращает лирическому «я» полноту чувств и переживаний молодости, сосредоточенных в любви, отсюда умиротворённое обращение «я» к умершей юной возлюбленной в ряде стихов: «Свет незакатный», «Печаль ресниц, сияющих и черных...»; «1885 г.» («Была весна, и жизнь была легка»): «Разве ты одинока? / Разве ты не со мной / В нашем прошлом, далеком, / Где и я был иной? / В мире круга земного, / Настоящего дня, / Молодого, былого / Нет давно и меня!» [2, с. 357]. Эти стихи продолжают условный цикл, начатый в раннем творчестве: «Портрет» («Погост, часовенка над склепом...»), «Крест в долине при дороге...», «Эпитафия» («Я девушкой, невестой умерла...»); близки к ним «Морфей» и «Венеция» («Колоколов средневековой...»). Несмотря на то, что «нет уж в мире нас, / Когда-то юных и блаженных <...>» [2, с. 374], возлюбленная «является», «воскресает» – «во сне», но этот сон явственнее реальности: «...И дивно повторяется восторг, / Та встреча, краткая, земная, / Что Бог нам дал и тотчас вновь расторг <...>» [2, с. 374], – во сне, в «радостной стране», «не дивит ничто – ни даже ласки той, / С кем Бог нас разделил могильною чертой» [2, с. 371].

В рассказе 1923 г. «Неизвестный друг», написанном в форме писем к писателю, героиня, прощаясь со своим «неведомым другом», надеется на встречу в мире ином: «Через пятнадцать, двадцать лет не будет, вероятно, ни меня, ни Вас в этом мире. До встречи в ином! Кто может быть уверен, что его нет?» [3, с. 98]. Как подчёркивает Ю. В. Мальцев, мотив прапамяти и метемпсихоза «должен быть опознан и указан в начале всякого разговора о Бунине <...>, ибо именно здесь, в этой темной области подсознания и тайны берут свое начало многие, казалось бы, безначальные и необъяснимые черты человеческого бытия, к которым постоянно приковывалось внимание» писателя [7, с. 9]. Гипотетическая встреча героев бунинского метасюжета «встреча – разлука» становится реальной в стихотворении «Встреча». Выйдя из «круга земного, настоящего дня», полнее и острее ощутив свою индивидуальность, «я» во встречной женщине узнает ту, которую встречал «стократ» в течение своего вечного пребывания в мире: «Все та же ты, как в сказочные годы! / Все те же губы, тот же взгляд, / Исполненный и рабства и свободы, / Умерший на земле уже стократ. / Все тот же зной и дикий запах лука / В телесном запахе твоём, / И та же мучит сладостная мука, – / Бесплодное томление о нём» («Встреча») [2,

с. 378]. Впервые этот мотив вечной связи «я» и его возлюбленной, когда-то живших и любивших, прозвучал в стихотворении «Ночь» («Ищу я в этом мире сочетанья...») 1901 г. (Ср. с рассуждением о «никому не ведомой жизни „такого-то“ в заготовке к «Жизни Арсеньева», где писатель говорит о «вечной, вовеки одинаковой любви мужчины и женщины...» [5, с. 365].) Присутствие героя здесь и сейчас и одновременно его остранённый взгляд на эту ситуацию выражается сменой местоимения третьего лица: «...И та же мучит сладостная мука, – / Бесплодное томление о нём», – а не первого («обо мне») – на местоимение первого лица «Через века найду <...> Моя неутоленная любовь...». Этим субъектным синкретизмом напоминает о себе всеведущий имперсональный бунинский герой, знакомый по стихотворениям «Пустошь», «Отчаяние», «На пути из Назарета», «В орде». Его способность к бесконечным метаморфозам представлена здесь метемпсихическим переживанием любви, памятью о прежних встречах «в сказочные годы» и предвидением будущей по-прежнему «неутоленной любви», а не вниманием к социально-философской проблематике. Эта переакцентировка соответствует смене тематических предпочтений писателя в последний период творчества. Здесь история отступает перед сосредоточенностью героя на главном – на раздумьях о любви, памяти, смерти.

Начиная с 1916 г., поэт пишет стихотворения с установкой отказаться от всякого рода условностей, преодолеть дистанцию между словом и реальностью, адекватно воспроизвести незавершённость, бесконечность жизни и своё к ней отношение, то есть говорить о том, что «истинно твоё и единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове!» [3, с. 180].

«Подсказанный» молодому поэту его наблюдениями над природой, образ круга с его вариантом – образом «молодой старости» – становится центральным в лирике этого периода. Бунинская версия популярного в XX в. архаического мифа о вечном возвращении выражается в цикличности пребывания в мире лирического «я», встречающего «ту же» возлюбленную, умиравшую «уже стократ»; в пространственно-временной кругообороте; и т. д. Открытая в раннем творчестве повторяемость, ритмичность природных явлений, перенесённая далее на повторяемость и предсказуемость исторических судеб, в поздней лирике выражается в цикличности личного пребывания в мире, вечном возвращении и встрече с тем и теми, с чем и с кем уже встречался в предшествующих воплощениях.

Литература

1. Баевский В. С. История русской поэзии: 1730 – 1980. Компендиум. М.: Новая школа, 1996. 320 с.
2. Бунин И. А. Собр. соч.: в 8 т. М.: Московский рабочий, 1993. Т. 1. Стихотворения 1888 – 1852. Т. 1. 540 с.
3. Бунин И. А. Собр. соч.: в 9 т. М.: Худ. литература, 1966. Т. 5. 544 с.
4. Бунин И. А. Собр. соч.: в 9 т. М.: Худ. литература, 1966. Т. 6. 340 с.
5. Бунин И. А. Собр. соч.: в 9 т. М.: Худ. литература, 1967. Т. 9. 623 с.

6. Куликова Е. Ю. Мертвые корабли и мертвые моряки в поэзии И. А. Бунина (к литературным истокам бунинской морской темы) // Куликова Е. Ю. Пространство и его динамический аспект в лирике акмеистов. Новосибирск: Свинья и сыновья, 2011. 530 с.
7. Мальцев Ю. В. Иван Бунин: 1870 – 1953. Франкфурт-на-Майне; М., 1994. 432 с.
8. Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. Т. 14. Повести и рассказы. 1903 – 1910. М.: Худ. литература, 1983. 511 с.

Информация об авторе:

Владимиров Олег Николаевич – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы Новокузнецкого филиала (института) КемГУ, vladi-oleg@yandex.ru.

Oleg N. Vladimirov – Candidate of Philology, Assistant Professor at the Department of the Russian: Language and Literature, Novokusnetsk Branch (Institute) of Kemerovo State University.

Статья поступила в редколлегию 23.03.2015 г.